

А. И.
КУПРИН

Избранное



Александр Куприн

В трамвае

«Public Domain»

1910

Куприн А. И.

В трамвае / А. И. Куприн — «Public Domain», 1910

«Угол Невского и Литейного. Зима. Вечер. Оттепель. Влажный туман поднимается из земли и давит улицу. Сквозь его завесу не видно домов, но огромными голубыми и оранжевыми пятнами сияют электрические фонари, багрово горят окна кинематографов, и вдруг вырастают золотые злобные глаза ревущих автомобилей. Пешеходы, экипажи, моторы, трамваи, мальчишки с ручными тележками, велосипедами сплошными лавами вливаются в этот перекресток, задерживаются и кружатся в нем, как в водовороте, и растекаются дальше. Шерсть на лошадях вскурчавлена и дымится. И над людьми колеблются их испарения...»

© Куприн А. И., 1910

© Public Domain, 1910

Александр Иванович Куприн В трамвае

Угол Невского и Литейного. Зима. Вечер. Оттепель.

Влажный туман поднимается из земли и давит улицу. Сквозь его завесу не видно домов, но огромными голубыми и оранжевыми пятнами сияют электрические фонари, багрово горят окна кинематографов, и вдруг вырастают золотые злобные глаза ревущих автомобилей. Пешеходы, экипажи, моторы, трамваи, мальчишки с ручными тележками, велосипедами сплошными лавами вливаются в этот перекресток, задерживаются и кружатся в нем, как в водовороте, и растекаются дальше. Шерсть на лошадях вскурчавлена и дымится. И над людьми колеблются их испарения.

Какая толпа! Точно весь город бесконечными лентами разворачивается перед глазами. Говор, смех, кашель, топот, звонки, окрики, гудки и непрерывное, головокружительное движение. Лишь в самом центре сутолоки, величественный и спокойный, как монумент, дирижирует толпою, при помощи своей белой палочки, краснолицый и толстый городской.

Мне сегодня некуда идти и нечего делать. Весь вечер я бродил по улицам, пока не зарябило в глазах. В душе у меня какая-то светлая, легкая и грустная пустота, и в памяти звучат, не отставая, чеканные стихи А. Блока о городе.

Трамвай останавливается, не доходя до перекрестка. Я вспоминаю о своей усталости и хочу сесть в вагон, отдохнуть. Но, боже мой, какая дикая, яростная орда осаждает вагонные ступеньки! Угрожающе поднятые вверх локти, цепляющиеся пальцы, теснящиеся бедра, лица, искривленные злостью и нетерпением. Ах, в эти хмурые, ослизлые петербургские вечера – как бледны, противны и вульгарны бывают человеческие лица. Даже самые тонкие, самые нежные из них...

Господа мужчины! Интеллигенты! Джентльмены! Покровители слабых!.. Вопрос всего в пяточке – не толкайте женщин, не давите детей! Дамы! вы! украшение мира, лучшие перлы в короне создателя, образ ангелов на земле! Вообразите себе самих себя, лезущих на площадку с мужеством и манерами пожарного солдата, стремящегося по лестнице в огонь. Руки ваши растопырены врозь, шляпки на боку, а торопливо вздетый кверху подол платья позволяет видеть побуревший от уличной грязи край нижней юбки, и кончик другой нижней юбки из красного толстого гаруса, и тот глубокий ботинок на резинах, с торчащими ушками, который почему-то называется «уткой»... Подумайте, с какой грустью созерцает это зрелище случайный юноша-прохожий – в душе идеалист и романтик.

Да не из чего было и ссориться. Вагон тронулся, и – посмотрите – все утряслись, умялись, расселись, всем хватило места. Недавнее озлобление понемногу стихает в нас. Некоторое время все мы еще ненавидим, по инерции, почтенную даму, которая едет с пятилетним мальчуганом. Она за него не заплатила и, собственно говоря, должна была бы держать его на коленях, но она посадила его рядом с собою. Конечно, мы были бы вправе сделать ей замечание и потребовать... Но наши нервы уже отмякли. Да и мальчишка очарователен. На нем белая шапочка и белое пальтецо из мохнатого блестящего плюша. Такой прелестный белый медвежонок с розовой мордочкой и умными черными глазками.

Косимся мы также довольно неприязненно и на девушку от портнихи. У нее длинное бледное лицо худо кормленного подростка, вздернутый удивленный нос и пропасть веснушек. Она сидит на самом кончике скамьи с картонками на коленях, в обычной прямой и выжидательной позе швейки-ученицы, разносящей заказы. Она занимает слишком много места в проходе своим багажом. Можно было бы попросить ее на площадку. Но стоит ли? Так и быть, мы и ей прощаем. Все прощаем, кроме педагога, который сидит напротив меня и – я знаю – страдает давнишним расстройством печени. Я вижу, как он поглядывает на медвежонок и на

швею. Если бы он мог рассчитывать на общее сочувствие, он давно восстановил бы законный порядок в вагоне.

Но мы уже благодушны. Время от времени нас, правда, соединяет общее чувство вражды к новым пассажирам, влезаящим в вагон на остановках. Вместе с ними к нам вторгается сырая уличная мгла... Стучит отодвигаемая и задвигаемая дверь, раздражая наши больные петербургские нервы... Приходится передвигаться с насиженного, привычного места... Но проходит минута-две, и пришельцы становятся как будто уже своими, и вместе с нами начинают ненавидеть новых, позднейших спутников, и вместе с нами привыкают к ним.

От нечего делать приглядываюсь к соседям, присматриваюсь к их ногтям, ушам, морщинам, подбородкам, наблюдаю мелкие движения их пальцев и глаз, когда они берут билеты и рассчитываются. Мне кажется, что теперь, издали, по одному только внешнему виду я острее проникаю в их души, чем мог бы это сделать после десяти лет тесного знакомства, которое медленно, но неизбежно тклет между близкими людьми непроницаемую стену взаимной лжи, компромиссов, лести, рабства, ревности, собственности, скуки, подавляемого раздражения и привычки. Вот сидит толстый седоусый отставной полковник. У него вздрагивающие щеки покрыты сетью мелких красных жилок, в ушах вата и на руках вязаные напульсники от ревматизма. Добрый человек, крикун и хлебосол. Любит собственноручно готовить шашлык и вышивает крестиками по канве. Вся жизнь его в прошлом, в службе, и он не прочь приврать о том, как была «у нас в полку».

Барышня с «Musique» под мышкой: матовая, мечтательная бледность лица, усталые, светлые, многознающие столичные глаза, безмолвная влюбленность в профессора, чувственное влечение к музыке, мигрень, плохой желудок, шоколадные конфеты, неразборчивое чтение и малокровие.

Два подрядчика по малярной, а может быть, и по дровяной части. На толстых головах картузы; узко прорезанные глаза запухли от сна и жира, челюсти, как железные сковороды, мощные желваки на скулах, обросших рыжей курчавой шерстью. Оба они посетители бегов и темных трактиров, оба деспоты в семьях, истязатели детей, а набожны, не пропустят ни одного поста – ни Великого, ни Филипповок, ни Петровок, ни Спажинок, но оба способны задавить человека, как муху, за копейку, и притом отличные патриоты...

Вот старушка – маленькая, толстая. Все ее лицо исчерчено вдоль и поперек морщинами, а губы вечно движутся, точно жуют или шепчут заклинания, а веки подозрительных, живых и быстрых глаз – глаз старой опытной мыши – красны и лишены ресниц. И ее я знаю отлично. Это – сутяга... Всегда вы ее встретите в суде – в коридорах, в канцелярии, в зале, всегда с векселями, претензиями, жалобами, встречными исками. Суд – ее алкоголь, морфий, гашиш, на который она ухлопывает последние крохи от своей жалкой пенсии и от продажи домика с мезонином. А откуда-нибудь, из Уржума или из Гадяча, ее пожилая, многодетная дочь, жена экзекутора, пишет ей письма с горьким упреком: «Мамаша, для вас судиться – одно развлечение, вроде театра, а вы подумали бы, что теперь зима, а мои ребятишки бегают без калош и кашляют».

Дальше сидит молодой, чистенький и юркий аптекарский ученик, а еще дальше – акушерка со своим специальным саком. За ней, ближе к углу, двое, – муж и жена, – оба крупные, мясистые, с большими твердыми лицами, – он земец, статистик, может быть, редактор журнала «Сыроварение», она – женщина-врач, с выпуклым, массивным, импонирующим бюстом. И он и она в пенсне. Смешная мысль приходит мне в голову. В минуты супружеских ласк они оба, должно быть, снимают свои стекла, и от этого у каждого глаза сразу становятся добродушными, мутными и косыми, а на переносице с двух сторон остаются красные рубцы.

В самом углу, слегка прислонившись к стенке, полузакрыв глаза, спрятав руки в муфточку из серенького, шелковистого, нежного шиншилла, сидит дама или девушка, с милым-милым, ласковым лицом, созданным для улыбки счастья. А против нее златокудрый, румяно-

щекий студент; у него ясные голубые глаза, облик красивого, простоватого и бойкого деревенского парня, но при этом – тонкие, изгибисто вырезанные, породистые ноздри. И вот я вижу, как он и она невинно и невольно ищут взглядов друг друга, встречаются на миг, точно нечаянно, глазами и сейчас же разбегаются, и опять сталкиваются, и опять уклоняются куда-то в сторону. Старая, как мир, знакомая каждому, наивная, прелестная игра!

Но все пассажиры хранят упорное, настороженное, подозрительное молчание. Муж и жена – оба в стеклах – изредка шепотом обмениваются двумя словами и замолчат, озираясь искоса на чужих. Подрядчики прогудят что-то вполголоса, близко наклоняясь друг к другу картузами, и тоже замолчат, вздыхая, сонно оглядывая публику, вертя большими пальцами сцепленных на коленях рук.

Нет! Будь в моей власти, и не бойся я наскочить на оскорбление, я бы оживил их всех. Я бы дал старому полковнику несколько чудесных рецептов от ревматизма и поговорил бы с ним о грязевых курортах. С супругами в стеклах длинно и скучно побеседовал бы о политике и о Думе. Выслушал бы внимательно и сочувственно о всех судебных передрыгах, постигших маленькую старушонку.

Для того чтобы дать исход желчи, переполняющей печень педагога, я вынул бы медленно из кармана портсигар, методично достал бы оттуда папиросу, постучал бы ею о крышку и с невинным видом взял бы ее в рот. Воображаю, как он сразу пожелтеет, заблестит очками и зашипит на меня: «Здесь нельзя курить. Видите надпись!» Но я так же спокойно вытащу коробку со спичками и молча потрясу ею. Педагог из желтого делается бурым, потом красным и закричит: «Кондуктор, выведите этого нахала. Он позволяет себе курить в вагоне». Тогда с христианским смирением я выйду на площадку, буду курить и молча радоваться, что принес хоть минутное облегчение застоявшейся педагогической душе...

А красивой девушке с муфтой и студенту, что сидит напротив, я сказал бы:

– Дети мои, вот я вижу, вы нравитесь друг другу – отчего бы вам не заговорить тут же, попросту, сердечно и весело.

Но кондуктор просовывает голову в вагонную дверь и возглашает:

– Бассейная улица!

И студент вышел, бросая последний робкий взгляд на соседку. Мне кажется, я вижу, как грудь его под форменным пальто незаметно, но глубоко вздыхает. Он выходит. Трамвай трогается. А дама поворачивается к окну, быстро протирает маленькой рукой в желтой шведской перчатке черное вспотевшее окно и глядит на улицу.

Право, все это как в жизни, в большой настоящей жизни, в которой так же бессмысленно теснятся и толкаются люди, так же подозрительно и злобно встречают вновь приходящих, так же пугливо и замкнуто, со взглядом исподлобья, жмутся к своим, к близким, уже привычным; так же приходят и испуг и обида от каждой мысли и каждого слова, высказанного в необычном порядке, и так же пропускают навеки из-за нелепых, мелочных житейских правил то величайшее счастье, которое озаряет сердца людей только благодаря случаю, мимоходом.

И вот вся наша планета, прекрасная Земля, представляется мне маленьким трамваем, несущимся по какой-то загадочной спирали в вечность. Вагоновожатый впереди нее – не зримое никем, покорное своим таинственным законам Время. Кондуктор – Смерть.

Да и в самом деле: сравнительно с бесконечными веками, бывшими до нас, и теми, которые останутся после нас, – не одинаково ли коротки: наш путь в трамвае и наша человеческая жизнь!

– Синим билетам конец! – возглашает Судьба, просунув голову в дверь.

У меня как раз синий. «Конец так конец, – думаю я. – Ведь мне все равно было, куда ехать». И я выхожу из трамвая на улицу, в туман, тьму и грязь.

Милая барышня с серебристой муфточкой! Клянусь вам, что жизнь страшно коротка. Теперь, в вашем возрасте, вы и представить себе не можете, до чего она мгновенна. Вы не бой-

тес, я не скажу пошлой фразы резервного поручика: «А потому надо пользоваться ею всю», или: «А потому надо брать от нее все, что можно»... О нет, человеку надлежит быть целомудренным в любви, верным в дружбе, милостивым к больному и падшему, ласковым к зверям. Но если сердце вдруг неудержимо потянет вас за собою, не противьтесь его чудесной власти, не верьте ни советам дряхлого опыта, ни расчетам, ни принятым обычаям: верьте сердцу и идите за ним. Тело обманет, сердце – никогда.

А когда настанет конец вашему билету, ступайте без ропота в темноту. Теперь вас, наверно, дома ждет обычный чай с крендельками и надоевшие картины на стенах, разговоры о театре, о литературе, о сегодняшних газетах. А там, на Главной Станции, – почему знать? – может быть, мы увидим сияющие дворцы под вечным небом, услышим нежную, сладкую музыку, насладимся ароматом невиданных цветов. И все будем прекрасны, веселы, целомудренно-наги, чисты и преисполнены любви.

Но об одном умоляю: не сходите с трамвая до полной остановки. Нерасчетливо, глупо и некрасиво.